

<Ищущий правды не должен отчаиваться.>
Коли не чаёт он нечаемого не отыщет
ненаходимого и малодоступного
(или ибо ненаходимо и малодоступно).

Гераклит Эфесский¹



Вот есть жизнь. Взять, к примеру, человека — здоровье хоть куда, и не старый даже, никогда ничем не болел. Все как было, как всегда и будет. Живет изо дня в день, своими делами занимается, грезит лишь о той жизни, что впереди. А потом вдруг — раз, и смерть. Человек легонько выдыхает, оседает в кресле, и это смерть. Ее внезапность не оставляет места мысли, не дает сознанию подыскать такое слово, что может утешить. Нам не остается ничего, кроме смерти, неодолимого факта нашей собственной смертности. С кончиной после долгой бо-

¹ *Пер. С.Н. Муравьева. Цит. по: Гераклит Эфесский: Все наследие, на языках оригинала и в рус. пер., крат. изд./подгот. С.Н. Муравьев. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. С. 193. — Здесь и далее прим. переводчика, кроме оговоренных особо. В основном тексте имена собственные приведены в соответствии с современными произносительными нормами.*

лезни смириться мы способны, что уж тут. Даже случайную смерть можем списать на судьбу. Но чтоб человек умер вроде как без причины, просто потому, что он человек, — тут мы настолько близко подходим к незримой границе между жизнью и смертью, что уже не знаем, с какой мы стороны. Жизнь становится смертью, и как будто смерть эта владела этой жизнью с самого начала. Смерть без предупреждения. Иными словами: жизнь останавливается. И остановиться она может в любой миг.

* * *

Весть о смерти отца я получил три недели назад. Воскресное утро, я был в кухне — готовил завтрак своему маленькому сыну Дэниэлу. Наверху жена моя еще не встала, нежилась под теплыми одеялами, растягивала несколько лишних часов сна. Зима в деревне: мир безмолвия, древесного дыма, белизны. В уме лишь мысли о том, что я писал накануне вечером, я только и ждал, чтобы днем вернуться к работе. И тут зазвонил телефон. Я сразу понял, что неприятности. Никто не звонит в восемь утра в воскресенье — только сообщить новость, которая не терпит отлагательств. А новости, не терпящие отлагательств, всегда плохие.

Я не смог подумать ни о чем возвышающем.

* * *

Мы еще не собрали вещи и не отправились в трехчасовую поездку до Нью-Джёрзи, а я уже знал, что придется писать об отце. Плана у меня не было, не было четкого представления о том, что это значит. Не могу даже вспомнить, что принимал какое-то решение. Просто возникло — уверенность, обязательство, что начало мне навязываться в тот же миг, когда мне сообщили. Я подумал: отца больше нет. Если я не пошевелюсь, вся его жизнь пропадет с ним вместе.

Оглядываясь сейчас, даже с такого небольшого расстояния, как три недели, я сознаю, что реакция это довольно занятная. Я всегда воображал, что онемею от смерти, она обездвижит меня скорбью. А теперь, когда все случилось, я не лил никаких слез, не ощущал, будто вокруг меня рухнул весь мир. Неким странным манером я был замечательно готов к тому, чтобы принять эту смерть, пусть она и внезапная. Беспокоило же меня нечто иное, не связанное со смертью или моим на нее откликом: осознание того, что мой отец не оставил следов.

У него не было жены, никакую семью он не кормил, ничья жизнь не изменится от его отсутствия. Краткий миг потрясения, быть может, у разбросанных друзей, кого мысль о капризе смерти отрезвит так же, как утрата друга, за ним — недолгий период траура, затем — ничего. Со временем все станет так, словно он никогда и не жил.

Еще до смерти он отсутствовал, и те, кто был к нему ближе всех, давно выучились это отсутствие принимать, относиться к нему как к основополагающему свойству его натуры. Теперь, когда отца не стало, миру нетрудно будет впитать в себя тот факт, что он ушел навсегда. Сама природа его жизни подготовила мир к его смерти — эдакая смерть предвосхищением, — и если и когда его станут поминать, то смутно, не более чем.

Лишенный страсти — будь то к вещи, личности или идее, — неспособный или не желавший проявлять себя в каких бы то ни было обстоятельствах, он умудрялся держать дистанцию с жизнью, избегать погружения в суету вещей. Ел, ходил на работу, заводил друзей, играл в теннис, однако, несмотря на все это, его не было. В глубочайшем, самом неизменном смысле он был человеком-невидимкой. И для других, и, вероятнее всего — для себя. Пусть я искал его, пока он еще был жив, пытался найти отца, которого не было, но теперь вот он умер, а у меня такое чувство, будто я по-прежнему должен его искать. Смерть ничего не изменила. Разница лишь в том, что у меня больше нет времени.

* * *

Пятнадцать лет он жил один. Упорно, непроницаемо, для мира словно бы неуязвимо. Казалось, этот человек не занимает места — скорее, он глыба неподатливого пространства в форме человека. Мир

отскакивал от него, об него разбивался, временами лип к нему — но никогда не пробивался насквозь. Пятнадцать лет он обитал в огромном доме призраком, сам по себе, и в этом доме умер.

Недолгое время мы жили там семьей — отец, мать, моя сестра и я. После развода родителей все разбежались: мать начала новую жизнь, я поступил в колледж, а сестра жила с матерью, куда тоже не уехала учиться. Остался лишь отец. Из-за пункта в соглашении о разводе мать по-прежнему владела частью дома, и ей бы отошла половина выручки, будь дом когда-нибудь продан (отчего отец и не хотел продавать), либо из некоего тайного отказа менять свою жизнь (чтобы не показывать миру, будто развод подействовал на него так, что он не способен с ним справиться), либо просто по инерции, из эмоциональной летаргии, не дававшей ему предпринимать какие-то действия, он остался — жить один в доме, где могло бы разместиться шесть или семь человек.

А дом внушал: старый, выстроенный прочно в тюдоровском стиле, со свинцовыми оконными переплетами, шиферной кровлей и комнатами королевских размеров. Его покупка для моих родителей была крупным шагом, признаком возросшего благосостояния. То был лучший район города, и, хотя жить в нем было неприятно (особенно детям), престижность перевешивала смертоносность. Учитывая, что весь остаток жизни отец проведет в этом

доме, была некая ирония в том, что поначалу он переезжать в него не желал. Ныл из-за стоимости (постоянная тема), а когда наконец уступил, то — с недовольным ворчаньем. Но все равно заплатил наличными. Одним махом. Никаких ипотек, никаких ежемесячных взносов. То был 1959 год, и дела у него шли хорошо.

Неизменно человек привычки, рано поутру он отправлялся на работу, весь день прилежно трудился, а затем, вернувшись домой (по тем дням, когда не зарабатывался допоздна), ложился вздремнуть до ужина. Где-то в нашу первую неделю в новом доме, не успели мы еще толком освоиться, он совершил примечательную ошибку. После работы поехал не в новый дом, а направился напрямик в старый, как делал много лет, оставил машину на подъездной дорожке, зашел через заднюю дверь, поднялся по лестнице в спальню, лег на кровать и уснул. Пропал так около часа. Что и говорить, вернувшись и обнаружив, что в ее постели спит посторонний человек, новая хозяйка немного удивилась. Но, в отличие от Златовласки, мой отец не вскочил и не убежал. Путаница в итоге уладилась, все хорошенько посмеялись. Мне и сейчас смешно. Однако, несмотря на все это, не могу не считать эту историю какой-то жалкой. Одно дело, если человек по ошибке едет в свой старый дом, но совершенно другое, мне кажется, что он не замечает, как все изменилось внутри. Даже в самом усталом или рассеянном уме

есть уголок чистого животного инстинкта, который сообщает телу ощущение того, где оно. Нужно быть совершенно без сознания, чтоб не увидеть — или хотя бы не почувствовать, — что дом уже не такой. «Привычка, — как говорит один персонаж у Беккета, — великий глушитель»¹. И если сознание не способно реагировать на физическую очевидность, что оно станет делать, если ему предъявить очевидность эмоциональную?

* * *

За те последние пятнадцать лет он почти ничего в доме не поменял. Не добавил никакой мебели, не убрал никакой мебели. Стены оставались того же цвета, кастрюли и сковородки он не заменял, даже материны платья не выкинул — убрал все в чулан на чердаке. Сами размеры дома избавили его от необходимости принимать какие бы то ни было решения о том, что в нем содержится. Дело не в том, что он цеплялся за прошлое, старался сохранить дом, как музей. Напротив, казалось, он сам не сознает, что делает. Им управляло небрежение, а не память, и хоть он остался в доме на все эти годы, жил он в нем, как жил бы посторонний. Годы шли, и он проводил в нем все меньше времени. Почти всегда ел в ресторанах, свой светский календарь размечал таким образом, чтобы каждый вечер чем-нибудь за-

¹ Беккет Сэмюэл. В ожидании Годо, действие 2, реплика Владимира.

ниматься, а дома только спал и мало что еще. Однажды несколько лет назад я обмолвился ему, сколько заработал своим писательством и переводами за минувший год (крохи по любым меркам, но больше, чем у меня было раньше), и он хмыкнул, дескать, больше тратит на питание вне дома. Суть вот в чем: его жизнь не сосредоточивалась вокруг того места, где он жил. Дом его был всего лишь одной из многих остановок в беспокойном, безьякорном существовании, и это отсутствие центра воздействовало на него так, что он превратился в вечного изгоя, туриста в собственной жизни. Никогда не возникало ощущения, что его можно засечь.

И все равно дом мне кажется важным, пусть даже своей запущенностью, — это симптом состояния рассудка, до которого иначе не добраться, явленного вещественными образами бессознательно-го поведения. Дом стал метафорой отцовской жизни, точным и верным отображением его внутреннего мира. Хотя отец поддерживал в доме чистоту и сохранял его более-менее, каким тот был, дом постепенно и неизбежно ветшал. Отец был аккуратен, вещи всегда возвращал на положенные места, но ни о чем не заботился, ничего никогда не чистил. Мебель — особенно в тех комнатах, куда он редко заходил, — покрывалась пылью, паутиной, являла признаки полного запустения; кухонная плита настолько обросла коростой пролитого и подгоревшего, что уже не отчистить; в буфете на

полках иногда годами томились пакеты муки, зараженной жучком, заветренные крекеры, мешки сахара, слипшегося в кирпичи, бутылки сиропа, которые уже не откроешь. Когда б он сам себе ни готовил — тут же прилежно мыл посуду, но лишь прополаскивал, всегда без мыла, поэтому каждая чашка, каждое блюдо, каждая тарелка были покрыты неопрятной пленкой жира. По всему дому шторы на окнах, вечно задернутые, до того обветшали, что дернешь — и распадутся. Возникали протечки и портили пятнами мебель, печь никогда не давала достаточно тепла, душ не работал. Дом стал неопрятен, уныло даже заглядывать. Как будтоходишь в жилище слепца.

Отцовы друзья и родня, ощущая безумие такой жизни в этом доме, все время побуждали его продать и куда-нибудь переехать. Но ему неизменно удавалось от них отмахиваться уклончивым «Я здесь счастлив» или «Меня устраивает». Под конец, однако, он все же решил съезжать. Под самый конец. В последнем нашем разговоре по телефону, за десять дней до смерти, отец сказал мне, что дом продан, сделка назначена на первое февраля, это недели через три. Он спрашивал, не нужно ли мне чего из дома, и я согласился заехать к нему с женой и Дэниэлом, как только выпадет свободный день. Он умер прежде, чем мы к нему успели.